

и в результате «без важных причин» ученик разошелся с учителем. Это, по-нашему, не так. Достоевский и Белинский — это две глубоко противоположные натуры. Белинский был революционером в душе. Достоевский же никогда им не был, хотя и увлекся в Белинском именно его революционностью или, вернее говоря, его верой в революционность. И так как по складу своего характера и воспитания Достоевский был другой человек, то он не мог себя чувствовать в среде Белинского своим. Стоит прочесть опубликованный года два тому назад один из протоколов Достоевского по делу петрашевцев, чтобы увидеть, как разнился Достоевский от своего учителя. Достоевский не изменил своих взглядов, а только провозгласил их потом, а они у него были, если хотите, с детства. «Бедными людьми» и Алешей Карамазовым мост построить очень легко. Христианская мораль была вынесена Достоевским еще из дому, и, по-видимому, она глубоко въелась в него, потому что потом, когда его искушал другой моральный бес, он не мог выкинуть из своей души своих верований.

Книга Шестова заслуживает прочтения уже по одному тому, что она заставляет нас переживать Достоевского. А это оригинальнейший и глубочайший писатель не только земли Русской. Несмотря на то, что он всегда хотел быть русским или, вернее, даже православным христианином, его произведения более международны, чем других корифеев нашей литературы. Оценка Достоевского еще не дана. Его лира звучит теперь сильнее, чем когда-либо. Горький, Андреев — все это ближайшие родственники Достоевского¹.

М. ГОЛЬЦЕВ

Л. Шестов. Достоевский и Ницше (Философия трагедии)

Автор этой книги принадлежит к числу наших «новых» полуфилософов, полукритиков. Этот жанр, наиболее талантливым представителем которого является г. Мережковский, культивируется по преимуществу в «Мире Искусства»¹, в котором предварительно печатались и очерки г. Шестова. Среди своих коллег г. Шестов выделяется очень симпатичными чертами. В нем чувствуется несомненная искренность, способность к философскому мышлению, без тех ужимок и фокусов, которые усвоили себе новые «жрецы» литературной критики. Прорицательский тон, страсть искать повсюду аналогий и сопоставлений, часто чисто внешних, и потом глубокомысленно стараться находить таинственный смысл в этих сопоставлениях — эта литературная манера, которой

так злоупотребляет, например, г. Мережковский, почти отсутствует у г. Шестова. Он только не мог отделаться от свойственных новой школе постоянных повторений одной и той же мысли в разных словесных формах, не мог отделаться и от несколько таинственного вида, с которым излагаются часто совсем не таинственные вещи. В предисловии, например, г. Шестов, между прочим, высказывает положение, что, может быть, предел человеческой жестокости и бесчувственности придется психологически искать не у палачей, не у героев меча и костров, а среди героев духа, среди проповедников добра и истины, среди людей, считавшихся исключительно призванными к борьбе со злыми и «дурными» проявлениями человеческой природы. И вот по поводу этой мысли г. Шестов принимает вид таинственный. «Имен, — говорит он, — я называть не буду, и у меня есть на то свои очень важные основания. Ибо если уже говорить, то пришлось бы сказать многое такое, о чем до времени не мешает помолчать». Если у г. Шестова есть истина, над которой должен висеть покров Исиды², то зачем об этом возвещать читателям. И не так, вероятно, уж страшны эти тайны, чтобы от обнаружения их могло произойти что-нибудь с г. Шестовым. Но такова манера «новых»!

В своей книге г. Шестов обнаруживает большую вдумчивость в сочинения Достоевского, и попытка разъяснить смысл их на основании анализа воззрений самого Достоевского представляется интересною. Достоевский, по мнению г. Шестова, — представитель той внутренней трагедии души, которая ничего общего не имеет с трагедией страстей и внешних коллизий жизни. Начало деятельности Достоевского отражает в себе веру и в истину, и в гуманность. «Познается, что самый забитый последний человек есть тоже человек и называется брат твой». Этими словами, по мнению автора, исчерпывается идея первого периода жизни и литературного творчества Достоевского. По возвращении из каторги, Достоевский стремится сохранить эту веру; он не смеет думать, что вера в гуманность и идеалы его оставили. Но уже началось перерождение его убеждений, началась, по терминологии г. Шестова, эпоха «подполья». «Записки из подполья», рассказ, появившийся в 60-х годах, представляют, по мнению Шестова, публичное отречение от прошлого. Герой этих записок (он, по мнению г. Шестова, несмотря на все оговорки, тождествен с Достоевским) с неслыханным дерзновением позволяет себе оплевывать то, что считается самым святым в человеческих чувствах. Достоевский не мог больше притворяться: «идеалы и умиление по поводу их вызывают в нем чувство отвращения и ужаса»; ему нужно было дать исход этому, и он начинает осыпать их градом ядовитейших сарказмов. В глубине своей души Достоевский потоптал и разум, и совесть и, впад в глубокое отчаяние, стал выше добра и зла. «...добро, гуманность, идеи — весь сонм прежних ангелов и святых, оберегавших невинную человеческую душу от на-

падений злых демонов скептицизма и пессимизма, бесследно исчезает в пространстве, и человек пред лицом своих ужаснейших врагов впервые в жизни испытывает то страшное одиночество, из которого его не в силах вывести ни одно самое преданное и любящее сердце. *Здесь-то и начинается философия трагедии*. Этот скептицизм и пессимизм возбуждают ужас в душе почувствовавшего их, но вернуться назад, победить идеализмом свои несчастья и сомнения невозможно. Идеализм сам обращается в подсудимого. Обнажаются сокровеннейшие глубины человеческой души, чтобы показать, что именно чувство героя «подполья» — это и есть настоящая правда о человеке. Эту правду Достоевский вынес из каторги, и он не мог от нее отделаться никогда; она давила, она мучила его, тем более, что ее приходилось скрывать от людей, что в запасе для людей приходилось иметь показные идеалы, которые Достоевский тем истеричнее выкрикивал, чем глубже они расходились с сущностью его заветных желаний. Поэтому-то все его произведения отличаются особой двойственностью. Любимой его темой после каторги является преступление и преступники, карамазовщина, вся та темная, враждебная идеализму сила, которую он с такой жестокой болью рисует в своих произведениях. Алеши, старцы Зосимы — в реальность их не верит в сущности и сам Достоевский. Философия Ивана Карамазова — вот идеи самого Достоевского. Отсюда, по мнению г. Шестова, и объясняется, почему Достоевский, певец униженных и забитых, со странным упорством отказывался благоговеть перед гуманными идеями, господствовавшими в 60-х годах; отсюда его постоянная вражда ко всякого рода идеалам всеобщего человеческого благожития, вражда к либералам, прогрессистам. Если внешним образом Достоевский как бы боролся со злом, то при этом он выдвигал в защиту зла такие могучие аргументы, о которых никогда не мечтали и ярые защитники его.

Рисуя ужасы жизни, Достоевский — как, например, в эпилоге к «Преступлению и наказанию» — вспоминает, что все-таки ведь он — учитель добра, что для людей ему нужно показать новую нравственную жизнь Раскольниковова; он обещает это сделать, повторяет такое же обещание и в «Братьях Карамазовых», но обещаний своих он никогда не выполнил. Все его положительные типы — князь Мышкин, Зосима, Алеша — поражают, по мнению г. Шестова, своей банальностью. Вся эта проповедь любви является у Достоевского только тем общепринятым мундиром, без которого нельзя явиться в люди. «Ведь не явиться же в люди со словами подпольного человека, с преклонением перед каторгой, со всеми “оригинальными” мыслями, наполнявшими голову Достоевского! Люди такого ближнего не захотят слушать, прогонят. Людям нужен идеализм, во что бы то ни стало. И Достоевский швыряет им это добро целыми пригоршнями, так что под конец и сам временами начинает думать, что такое занятие и в самом деле чего-нибудь стоит.

Но только временами, чтобы потом самому же посмеяться над собой». Если Иван Карамазов заявляет: «я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то по-моему невозможно любить, а разве дальних», то в этих словах выражается мнение самого Достоевского. «Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит?» — Этот страшный вопрос Карамазова и есть вопрос самого Достоевского. Тут Достоевский подходит уже совершенно к Ницше. У последнего эта фраза превращается в научную систему «по ту сторону добра и зла». Основная мысль статьи Раскольников, приводимой в «Преступлении и наказании», тоже поразительно совпадает с учением Ницше. Добро и зло не существуют. «Их заменили выражения “обыкновенность” и “необыкновенность”, причем с первым соединяется представление о пошлости, негодности, ненужности; второе же является синонимом величия».

Рассматривая сочинения Ницше, г. Шестов и находит, что этот мыслитель переживал настроения и впечатления очень близкие к тем, которые отразились в первых произведениях Достоевского. В молодости Ницше был и мечтателем, и романтиком; потом в душе его произошел внезапный перелом, и он вступил на путь того сомнения, на путь познания, который требовал переоценки всех ценностей; он восстал против морали. Добро стало синонимом бессилия; добрые — это немощные, но хитрые завистники, решившиеся ни перед чем не отступить, чтобы только выместить на своих противниках, «злых», несчастье своей бедной и жалкой жизни. Сверхчеловек, стоящий вне добра и зла, это тот символ у Ницше, в котором он пытался воплотить всю силу своего восстания против рабской морали. В форме борьбы с моралью Ницше боролся с позитивизмом и идеализмом, как и Достоевский. Что бы из этого ни вышло, Ницше, как истинный человек трагедии, не может отказаться от своих прав и не променяет их на «идеалы» сострадания и все прочие блага в том же роде, специально для него изготовленные современной философией и моралью. Достоевский со стыдом и с ужасом решался высказывать эти истины, и то не от имени своего, а от лица героев своих романов. Ницше провозгласил ее громко, торжественно, открыто, в виде новой декларации прав человека.

В чем заключается значение той трагедии, представителями которой являются и Ницше, и Достоевский? Г. Шестов дает ответ на это в следующих неясных словах: «Трагедии из жизни не изгонят никакие общественные переустройства, и, по-видимому, настало время не отрицать страдания, как некую фиктивную действительность, от которой можно, как крестом от черта, избавиться магическим словом “ее не должно быть”, а принять их, признать и, быть может, наконец, понять. Наука наша до сих пор умела только отворачиваться от всего страшного в жизни, будто бы оно совсем не существовало, и противопоставлять ему идеалы, как будто бы идеалы и есть настоящая реальность... И лишь

тогда, когда не останется ни действительных, ни воображаемых надежд найти спасение под гостеприимным кровом позитивистического или идеалистического учения, люди покинут свои вечные мечты и выйдут из той полутьмы ограниченных горизонтов, которая до сих пор называлась громким именем истины, хотя знаменовала собой лишь безотчетный страх консервативной человеческой природы пред той таинственной неизвестностью, которая называется трагедией <...> Так или иначе — философия трагедии находится в принципиальной вражде с философией обыденности. Там, где обыденность произносит слово “конец” и отворачивается, там Ницше и Достоевский видят начало и ищут».

М. О. ГЕРШЕНЗОН

Литературное обозрение <О книге Л. Шестова «Достоевский и Ницше»>

Как ни ошибочна, на наш взгляд, новая книга г. Шестова (*Достоевский и Ницше. Философия трагедии*. С.-Петербург, 1903), однако же мы горячо рекомендуем ее вниманию всякого серьезно мыслящего человека. Не знаем, испытал ли сам автор одну из таких жизненных трагедий, в которых он видит единственный источник истинной, реальной философии; во всяком случае, эта его книга, как и две предшествовавшие ей, исполнена духом страстного, до боли напряженного искания, притом искания не «обмана», хотя бы убедительного и возвышающего нас, а трезвых истин, хотя бы и «низких»¹: всякая новая истина, говорит в одном месте г. Шестов, всегда безобразна, как новорожденный ребенок. Именно это придает высокую ценность его книгам. Она представляет собою, говоря словами Герцена, попытку проверить, не должны ли мы признать за фантастически освещенный туман то, что человеческому сознанию в течение тысячелетий казалось грозными седыми утесами, о которые бились все дерзавшие думать². Доказать это ему не удалось ни по существу, ни формально (по крайней мере в отношении Достоевского); но он *пережил* свое сомнение, его мысль — плод душевной боли, а не холодного созерцания, и потому в его книге есть нечто большее, чем литература, — в ней дышит жизнь.

Я попытаюсь изложить мысли г. Шестова о Достоевском, насколько это позволяют значительная неясность и капризный ход его изложения, беспрестанно отклоняющегося в сторону, загроможденного туманными намеками и ненужными, хотя подчас блестящими отступлениями, наконец, несвободного и от внезапных скачков, пре-